

Былички Бабы Маши

Каверина Виктория



Виктория Каверина

Былички Бабы Маши

<https://litres.ru/74606653>

SelfPub; 2026

Аннотация

Бабушкины сказки обычно убаюкивают. Но что, если они предупреждают о том, что прячется в темноте?

Обычная кухня, ровный гул котла, запах сушеных трав и старый вязаный плед. Здесь всегда тепло и безопасно. По крайней мере, так кажется, пока баба Маша не начинает рассказывать свои истории.

Это не добрые сказки на ночь. Это былички — жуткие, липкие от холода воспоминания о том, как изнанка мира прорывается в нашу реальность. Прабабушка Маши не верила в случайности. Она знала: за толстыми стенами дома, за горячими батареями и за колючей проволокой фронта всегда есть Те, кто ждет, когда мы забудем правила. Это мрачный, но завораживающий взгляд на советскую эпоху, где суеверия переплетаются с суровой реальностью, а грань между человеком и зверем, между жертвой и хищником, тоньше, чем кажется.

Здесь есть только хрупкий договор между человеком и силами, которые старше и страшнее нас. Договор, который нельзя нарушать.

Откройте книгу. Но не забудьте закрыть дверь на щеколду.

Содержание

Рысёнок	4
Ткацкий станок	11
Беляш	15
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Виктория Каверина

Былички Бабы Маши

Рысёнок

Мне было десять лет, я училась в четвертом классе. Мы жили в частном секторе — таком, какие есть в каждом небольшом городке. Наш ПГТ был тогда на двадцать пять тысяч человек, сейчас, спустя двадцать лет, население стало меньше. Многие уехали в город, в том числе и я. Никакой глуши, никаких лесов за окном, только привычные заборы, огороды и соседи.

Сам дом был крепким. Отопление у нас было водяное. Прямо за стеной кухни, в маленькой комнатке, стоял котел. Там же, в полумраке, пахнущем сухим жаром и пылью, лежали березовые дрова и черный, блестящий уголь. От котла по всему дому расходились толстые трубы, заканчивающиеся тяжелыми чугунными батареями.

Котел гудел тихо и ровно. Этот низкий, вибрирующий в полу звук был как пульс нашего дома. Он создавал иллюзию абсолютной, нерушимой безопасности. Мне казалось, что пока в топке горит огонь, а чугунные ребра батарей обжигают руки, мир за окном принадлежит нам.

Баба Маша, или просто Ба, жила в соседнем доме. Ей было

семьдесят семь, но она была крепкой, подтянутой, с ясными, внимательными глазами, которые видели тебя насквозь, игнорируя шелуху. Когда она приходила к нам в гости — ее любимым занятием было гадать на обычных игральных картах. Она тасовала колоду с сухой, четкой уверенностью, и раскладывала пасьянсы, глядя на них так, словно читала скрытые механизмы вселенной.

В тот ноябрьский день я принесла домой рыжего котенка. Мокрого, орющего, с ободранным ухом. Я считала, что совершаю подвиг, и была готова к похвале.

Ба как раз сидела за кухонным столом, методично перебирая карты. Она подняла глаза. Не испугалась. Ба вообще не умела бояться. Она просто посмотрела на котенка. Долго, внимательно, так, что у меня по спине пробежал легкий холодок. Ее взгляд был тяжелым, оценивающим. Она смотрела не на мокрый комочек шерсти, а на что-то другое. Невидимое мне.

Потом она хмыкнула, сурово сдвинула брови и сказала ровным, безапелляционным голосом:

— Унеси в кондейку. Чтоб я его не видела. Там ему самое место. Пусть сидит у печки.

Я замерла, прижимая к груди шевелящийся клубок.

— Ба, почему ты их так не любишь? Ты же всегда говоришь, что звери — это хорошо.

Ба медленно отложила карты. Движения ее были плавными, но в них чувствовалась сталь.

— Потому что, Вика, в этом мире за все приходится платить, — сказала она. — И тепло — самая дорогая валюта. Звери это знают лучше нас. Садись. Расскажу.

Я села. За стеной, в пристройке, ровно гудел котел.

— Было мне двадцать, — начала Ба, и голос ее стал другим. Молодым, жестким. — Жили мы с твоим прадедом Александром у самой тайги. Не на окраине, а там, где огорода резко обрывались и начинался черный, непроглядный лес. Я тогда беременная ходила, первым. Живот уже большой, а Александр все в уголья уходил. Охотник он был хороший. Молчаливый.

Она замолчала, глядя на свои руки, покрытые сеткой синих вен.

— Приходит раз вечером. Метель. Снимает тулуп, а из-за пазухи комочек вываливается. Рыжий. В пятнах. Размером ровно в две ладошки. Я ахнула: «Александр, ты с ума сошел? Где взял?» А он стоит, руки к печке тянет, у нас тогда печка русская была, на меня не смотрит. Говорит: «Мужики влогу матерую взяли, Маша. Я по следу пошел, а там сирота. В снегу копошится. Околеет ведь. Не могу, Мария. Оставим».

Ба перевела дыхание.

— Я согласилась. Грех живое существо на смерть бросать. Александр отогрел, молоком выкормили. А тут и мой срок подошел. Родила я Генку. Крепкий мальчик. И рос он быстро. И кот... кот тоже рос.

Голос Ба стал ниже, тише. Она наклонилась вперед.

— К году Генкиному это уже не кот был, Вика. Рысь. Настоящая. Пудов пять, может, больше. Бесшумная. По полу идет — ни скрипа, ни шороха. Но к Генке ласковая. Они по полу катались, Генка хохотал, за уши рысёнка трепал. Александр радовался: «Гляди, Мария, как она его любит. Как брат родной».

Ба замолчала. Гул котла за стеной вдруг показался мне не уютным, а настороженным.

— А мне страшно было, Вика, — сказала она вдруг. — Не сразу. Постепенно. Начнется — тоска такая, черная, что не знаю, куда себя деть. Я на рысь посмотрю, а она на меня из угла глядит. И глаза у нее... не кошачьи. Слишком умные. Я чувствовала нутром: чужой он. В нем тайга сидит, а тайга ничего просто так не отдает. Она только берет.

Баба Маша резко встала, прошлась по кухне и остановилась у окна.

— Зима та лютая была. Печь жарко топили, а мне все равно холодно. И вот... ночь.

Она повернулась ко мне. В ее глазах плескался страх, будто она снова переживала тот момент, я вжалась в спинку стула.

— Снится мне сон. Или не сон. Сумерки между явью и кошмаром. Просыпаюсь я. Вроде просыпаюсь. Глаза открыты, вижу избу, стены. Но пошевелиться не могу. Тело — как налитое свинцом. Лежу и не могу даже пальцем двинуть.

Ее голос упал до ледящего шепота.

— Воздух в комнате густой. Пахнет прелой хвоей и мокрой шерстью. В углу, за печкой, темно. И в этой темноте что-то шевелится. Выходит рысь. Но не та, что с Генкой играла. Эта — больше. Она идет по полу, и половицы не скрипят. Будто она не по полу идет, а парит над ним. Глаза у нее горят. Не желтые. Красные, как угли, когда дрова прогорели, но жар еще держится.

Баба Маша закрыла глаза.

— Она подходит к кровати. Прыгает. И ложится Генке на голову. Всей своей тушей. На лицо.

Баба Маша помолчала.

— Генка просыпается. Он руками за шерсть хватается, ногами сучит, хрипит. А она лежит. А потом поворачивает голову и смотрит на меня. Через плечо. И в этом взгляде нет ничего. Ни злобы, ни жалости. Пустота.

Баба Маша всхлипнула. Один раз, коротко.

— Потом она встает. И Генка... мой Генка... он плачет, ему страшно, но он сам, как будто его кто-то ведет за невидимую ниточку, лезет ей на спину. Ручками за шею обнимает. А она разворачивается и идет к печке. И уходит за нее. В ту узкую щель между стеной и кирпичом, куда даже мышь не пролезет. Утаскивает его.

— Я очнулась. Рывком. С криком. Тело сразу стало моим, я кинулась к кровати...

Она снова замолчала. Долго.

— Белый, — сказала она наконец, и голос ее был абсолют-

но мертвым. — Белый, как первый снег. И тихий. Не дышит. Он просто отдал свое тепло. Потому что больше нечем было платить.

Она разжала руки.

— Александр от крика проснулся. Увидел — завыл. Схватил ружье, босиком в снег выбежал. Искал. По избе, по сениям, по лесу до самого рассвета. Нет рыси. Дверь в сенях на засове изнутри. На снегу ни одного следа. Ни шерсти, ни запаха. Будто ее и не было. Соседи потом клялись, что не помнят, чтобы Александр рысенка приносил. Рысь исчезла. Тайга забрала долг и закрыла счет.

Баба Маша посмотрела на меня. Ее глаза были сухими.

— Зверь есть зверь, Вика. Инстинкт его к теплу привел. А лес свое забрал. И следов не оставил, чтобы мы не могли догнать. Чтобы мы просто помнили, кто здесь настоящий хозяин.

Она подошла к столу, спокойно собрала карты и убрала их в колоду.

— Покорми своего, — сказала она, и голос ее был уже обычным, ровным. — Но пусть сидит у печки. У печи — граница. Там тепло делится поровну. И не нарушай баланс, Вика. Никогда.

Я встала и пошла в кочегарку, мы так ее звали. Котенок сидел у раскаленной печки, свернувшись калачиком, и тихо мурлыкал. Обыкновенный рыжий котенок. Просто котенок.

Я села рядом на корточках и слушала, как ровно и спо-

койно гудит котел. Дом был теплым. Дом был безопасным. Но теперь я знала, что эта безопасность — лишь хрупкий договор. И где-то в темноте, за пределами горячих батарей, есть те, кто только и ждет, когда мы забудем правила.

Ткацкий станок

Баба Маша не любила говорить о войне. Не о той, что с бомбежками и окопами, а о той, что была внутри. О войне станков, норм и бесконечного, сводящего с ума грохота.

Я узнала эту историю случайно. Мы сидели на кухне, и я, по привычке, крутила в руках старую, потертую шпульную катушку, найденную в ее сундуке. Ба, которой тогда было уже за восемьдесят, замерла с чашкой в руке. Ее взгляд, обычно живой и насмешливый, стал пустым и стеклянным, устремленным куда-то сквозь меня, в дымное, промасленное прошлое.

— Шум, Вика, — тихо сказала она. — Ты не представляешь, какой там был шум. Такой, что уши закладывает, а внутри черепа все равно звенит.

Ей было шестнадцать. Сорок второй год. Она уехала из своей деревни, бросив отца, мачеху и ораву младших братьев и сестер. Не сбежала — уехала работать. Так надо было. Автобус увез ее далеко на восток, в Омск. До границы было тысячи километров, до фронта — месяцы пути, но война уже была там. Она просто ждала их в цехах.

— Нас, девчонок, сразу к станкам, — голос Ба был ровным, почти механическим, словно она сама превратилась в один из тех агрегатов. — Людей не хватало. Мужики все на фронте. Мне сразу два станка дали. «Ты, Мария, крепкая,

справишься». А куда денешься?

Она провела пальцем по краю стола, рисуя невидимые узоры.

— Днем ткали. Брезент, шинельное сукно, парашютный шелк. Станки ходили ходуном, челноки летали так, что только мелькало. А ночью... ночью нас переводили в другой цех. Патроны делать. Гильзы медные, порох, капсули. Пальцы к концу смены черные, въелись намертво, никаким мылом не брало. Спишь по три часа в сутки, да и то урывками, стоя. Проснешься — а в ушах все равно стук: тук-тук-тук. Это станок в голове работает.

Ба замолчала, глядя на свои руки — сухие, с узловатыми суставами. Руки, которые помнили вес медных гильз и вибрацию ткацких ремней.

— И была у нас в смене девчонка. Клавка. Тоже шестнадцать, как я. Рыжая, веснушчатая, юркая. И косы у нее — до пояса. Тяжелые, красивые. По уставу, конечно, нужно было под косынку убирать. Платок, чтобы ни одного волоса наружу. А она...

Баба Маша горько усмехнулась, и в этой усмешке не было ни капли веселья.

— А она не убирала. Хотела покрасоваться. У нас в цеху был только один мужик — мастер, пожилой уже, хромой, освобожденный. Так она перед ним вертелась, косами этими помахивала. Мастер ей замечание делал, а она только смеялась: «Да ладно, дядя Миша, не оторвет!».

В кухне стало так тихо, что я слышала, как за стеной щелкнул реле котла. Но в рассказе Ба уже нарастал, невидимый гул.

— Смена была ночная. Патроны набивали. Глаза слипаются, голова гудит. Клавка эта за свой станок встала, косы так и болтаются по спине, поверх ватника. Час прошел. Может, два. Она задремала. Стоя. Просто стоя у станка, уронив голову на грудь.

Баба Маша закрыла глаза. Ее веки мелко задрожали.

— Станок — он как война. Ему всё равно. Он не видит, кто перед ним. Девчонка, мужчина, ребенок. Он просто делает свою работу. Коса свиснула, попала под ремни. Мгновение.

Ба резко открыла глаза, и в них плескался тот самый, давний ужас, который не смогли вытравить ни десятилетия, ни мирная жизнь.

— Сначала был не крик. А такой... влажный, глухой звук. Как будто мешок с мясом ударили о стену. Станок дернулся, натянул ремни. Коса намоталась на вал, и...

Она сглотнула. Горло ее напряглось.

— И зажевало. Вместе с головой. Пока я слышала, что ремни визжат не так... пока добежала, пока дернула аварийный стоп...

Баба Маша посмотрела на меня, и ее взгляд был абсолютно пустым.

— Станок уже сделал свою работу. Размозжил. Кровь,

мозги, волосы... все перемололо в кашу и выплюнуло на пол. Клавка еще дергалась секунду, как рыба на берегу, а потом рухнула.

Она медленно выдохнула, и плечи ее опали, словно она снова несла на себе вес того сорок второго года.

— Мастер прибежал. Бледный, как полотно. Ругался матом, но не от злости. От бессилия. Мы стояли и смотрели. А станок... станок уже молчал. Но в ушах все равно стоял этот стук. Тук-тук-тук.

Баба Маша медленно протянула руку и накрыла мою ладонь своей. Кожа ее была горячей и шершавой.

— Война, Вика, она не только на фронте, — тихо сказала она. — Она везде, где человек перестает быть человеком и становится винтиком. А винтики, если они выпадают из пазов... их просто перемалывает.

Она отняла руку, встала и пошла к плите, чтобы поставить чайник. Двигалась она так же ровно и механически, как когда-то те ткацкие челноки. А я смотрела на старую шпульную катушку в своих руках и впервые понимала, какой страшной ценой был соткан тот мир, в котором я родилась.

Беляш

— Ба, а ты часто в деревню ездила? К отцу, к братьям?
— спросила я, откусывая бутерброд с колбасой. Хлеб был мягким, колбаса — вкусной, и я даже не задумывалась о том, какое это чудо — просто иметь еду.

Баба Маша, которой тогда было семьдесят восемь, медленно, с какой-то нарочитой осторожностью отставила чашку с чаем на стол. Фарфор тихо звякнул о блюдец, и этот звук в тишине кухни показался мне неестественно громким. Ровный, убаюкивающий гул котла в соседней комнатке вдруг перестал быть фоном. Он стал похож на тяжелое, натужное дыхание.

— Всего один раз собралась, Вика. По своему желанию, — сказала она тихо. Голос её осел, стал шершавым. — И не доехала.

Она посмотрела на свои руки. Сухие, узловатые пальцы медленно перебирали край вязаной кофты, словно пытаюсь нащупать какую-то невидимую нить, связывающую её с тем днём. Я знала этот взгляд. Баба Маша смотрела не на меня, а сквозь стены нашего дома, в серую, пыльную изнанку прошлого.

— Далеко это было от Омска. Больше двухсот километров. Я тогда на ткацкой уже работала, деньжата копила по копейке. А дома отец, мачеха, братья с сёстрами. Вовке-бра-

тику тогда пять лет было, шестой пошёл. Он у нас сладкоежка был жуткий, конфеты обожал. Вот я ему и насобираала го-
стинцев: карамельки в бумажках, пряники коврижки. Нюсь-
ке-сестре побрякушки разные — бусы стеклянные, заколки.
А Шурку, я вообще с собой забрать хотела. В общежитие
устроить, на работу пристроить, чтобы из деревни этой вы-
рвать, из нищеты.

Ба усмехнулась, и усмешка вышла кривой, болезненной,
растянув морщины вокруг рта.

— Рейс автобуса был с самого утра. С вечера собиралась,
крутилась, сумку укладывала. Утром так и не поела — не до
того было, да и кусок в горло не лез от волнения. А ехать
далековато, до автовокзала. Он тогда ещё не вокзалом был в
полном смысле, а так — площадка заасфальтированная, там,
где сейчас цирк поставили.

Баба Маша прикрыла глаза, и я почти увидела то место
вместе с ней.

— Представь, Вика, сорок второй год. Пыль столбом. Во-
круг деревянные скамейки, стёртые до блеска тысячами зад-
ниц. Пахнет выхлопными газами от чадающих «ЗИСов», де-
шёвым табаком, потом. Люди сидят, прижав к груди узлы и
мешки. У всех глаза голодные, испуганные. Шум, гам, ру-
гань. А я стою, сумку прижимаю, и желудок сводит так, что
хоть волком вой. Есть хочется — сил нет. Голова кружится.

Она открыла глаза, и в них мелькнуло что-то детское, рас-
терянное.

— Смотрю, тётка одна стоит. Обычная такая, в платочке, лицо доброе, морщинистое. А перед ней лоток, а на лотке — беляши. Горячие, румяные, жир так и блестит на солнце, запах идёт такой, что голова идёт кругом. Купила я один, отошла к скамейке, присела. Руки трясутся от голода.

Баба Маша замолчала. Её пальцы нервно, до белизны в суставах, сжали край скатерти. Я перестала жевать. Бутерброд застрял в горле сухим комом.

— Откусила я, Вика. Соку много, мясо сочное. Жую. И вдруг зубы на что-то твёрдое наткнулись. Не кость. Кость она другая, она хрустит, ломается. А это... мягкое, но плотное. Как хрящик, но не хрящик. Я выплюнула на ладонь. Смотрю.

Она подняла на меня глаза, и в них снова появился стеклянный, отсутствующий блеск, от которого по коже ползли мурашки.

— Ноготь, Вика. Человеческий ноготь. С красным лаком накрашенный, аккуратно подпиленный.

У меня перехватило дыхание. Кухня, с её горячими батареями и уютом, вдруг показалась мне декорацией, за которой пряталась бездна.

— Меня как полоснуло, — продолжила Ба, и голос её стал глухим, вибрирующим. — Прямо на скамейку и вырвало. Не удержалась. Сiju, плачу, трястись вся начала, мелкой дрожью, как в лихорадке. А тут милиционер подходит.

Баба Маша медленно провела ладонью по лицу, стирая невидимую паутину воспоминаний.

— Большой такой, плечистый. Форма на нём висит мешком — видно, что сам голодный. Лицо красное, обветренное, в мелких морщинах, глаза кровью подёрнуты от недосыпа и махорки. Смотрит на меня строго, сверху вниз, и говорит басом: «Гражданка, вы что, с утра уже напились?». Думает, пьяная. А я только рукой машу, сказать ничего не могу, горло перехватило, только хриплю. Он наклонился, приняхался. Запаха нет.

— Я ему дрожащей рукой показываю этот ноготь и беляш, который в руке зажала, словно он мог меня укусить. Говорю: «Товарищ милиционер, посмотрите. У той тётки купила». Он посмотрел. Лицо у него сразу изменилось. Красно-та сошла, стало серым, как мокрый асфальт. Взял меня под локоть — рука у него была тяжёлая, горячая, — повёл к той женщине.

— А тётка, — сказала Ба, и в голосе её прорезалось то самое удивление, которое она не могла забыть полвека, — обычная бабушка. В цветастом платочке, глазки такие добрые, старушечьи, прищуренные. Мы к ней. Милиционер спрашивает, голос уже не басит, а сипит: «Это ваш беляш?». А она глазами хлопает, руками разводит: «Что вы, сынок, я с утра пеку, мука своя, мясо своё, от колхоза». Слово за слово. А потом она как глянет на меня, как увидит, что я этот ноготь в платочке держу...

Баба Маша резко выдохнула, словно её снова ударили под дых.

— И побежала. Бежала, Вика, для своих лет быстро. Как коза. Подобрала подол, лоток бросила, и в толпу. Милиционер за ней, я за ним. Кричит: «Стой! Стрелять буду!». Но ушла. В толпу нырнула, как в воду, и нет её.

Она замолчала, глядя в окно на серый ноябрьский день, за которым скрывался обычный, безопасный двор.

— Меня, как свидетеля, в отделение забрали. Показание сняли. И дали мне, подписку о невыезде. «Сидите, девушка, ждите, пока следствие ведётся». Так я и не поехала. Ни Вовке конфет не отвезла, ни Шурку не забрала. Сидела в Омске, ждала. Ночами не спала, всё этот ноготь перед глазами стоял.

Баба Маша тяжело вздохнула, и плечи её опустились, сделав её вдруг очень маленькой и старой.

— Потом уже, через неделю, пригласили меня в отделение. Завели в кабинет, пахнет там табаком, потом и старыми бумагами. А там сидит та женщина. Та самая «бабушка» с беляшами. Только без платочка, волосы седые, растрёпанные, и глаза уже не добрые, а пустые. Как у дохлой рыбы. Я её сразу узнала, кивнула. А она на меня даже не посмотрела.

Ба наклонилась ко мне, и я невольно подалась назад. В её голосе зазвенел ледяной металл, тот самый, что бывает у старых волков.

— А потом тот милиционер, что меня на вокзале за пьянчужку принял, проводил меня до выхода. Усталый он был. Очень. И говорит: «Спасибо вам, девушка. Помогли вы нам». И рассказал.

Ба сглотнула.

— Людоеды они были. Банда. Детей воровали, женщин. На вокзалах, в парках, у рынка. Убивали. Мясо потом по маленьким магазинчикам сбывали, под видом говядины. Часть себе оставляли. А из обрезков, из того, что в продажу не шло, вот эти самые пирожки и беляши пекли. И торговали. Прямо на автовокзале.

В кухне повисла тишина. Только котёл за стеной продолжал свой ровный, безразличный гул. Я смотрела на Бабу Машу и чувствовала, как по коже ползёт липкий, тошнотворный холод. Мой бутерброд с колбасой теперь казался мне чем-то чужим и страшным.

— Зло, внучка, — тихо сказала Ба, отстраняясь от стола и выпрямляя спину, — оно не всегда с клыками и когтями. Не всегда из тайги приходит. Иногда оно в платочке, с добрыми глазами, и печёт самые вкусные беляши. И ждёт, пока ты проголодаешься.

Она встала, поправила платок. Движения её были плавными, но в них чувствовалась сталь, которая помогла ей выжить в сорок втором.

Она пошла к двери, а я сидела и смотрела на свой бутерброд. Мир за окном был прежним. Но я уже знала, что под его тонкой, хрупкой корочкой всегда может скрываться что-то, от чего тошнит и стынет кровь. И самое страшное — это то, что оно умеет улыбаться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.